

*И я, как витязь, который горд коня сохранить, а живот сложить, честно поплыл и держал Норд-Норд.*

Иосиф Бродский. Письмо в бутылке

**Я** надела голубую рубашку — в цвет неба и отделки кресел.

Уважаемые пассажиры, самолет готовится к взлету.

Голос Аманды Бергман в наушниках отдает холодком, будто на лед постелили бархатный плед. Поднимается солнце; самолет поводит крыльями, как плечами, и кажется, будто от утренних облаков ему зябко. Тело, на десять тысяч метров оторванное от земли, кажется пустым и легким, душа и вовсе истаяла, как медуза, вынесенная на песок, и я решительно настраиваю себя предаться безудержному гедонизму в тот самый момент, когда самолет опустит нос и коснется посадочной полосы.

Окунуться в холодное море цвета моей рубашки.

В поезде стоит душный гвалт, много детей, за окнами исполинские ветряки мерно гребут прохладный морской ветер широкими лопастями. Поскольку каждый в вагоне с равной долей вероятности может говорить на датском, шведском или английском языках, объясняемся жестами, улыбками, втискиваемся с чемоданами в уголок между стеной и дверью. Вытираю пот с висков ребром ладони. Выуживаю мягкий шведский говор из потока строгой датской речи и, прикрыв глаза, покачиваю головой, как под музыку. По мосту поезд едет гладко, быстро, как твердой рукой пущенная стрела.

В Копенгагене допускается два варианта: либо ты — на съемках фильма про Копенгаген (здесь все время

хочется сказать режиссеру, что в таких домах не живут, потому что они похожи на пряники), либо — действительно в Дании, но тут случается приступ восторженного неверия, и во избежание счастливой истерики ты решаешь сходить за мороженым. В метро неприлично пялишься на надписи и тщетно пытаешься понять, что хуже: уступить место пожилой женщине и прослыть невежественным иностранцем или не уступить и... прослыть невежественным иностранцем. В поезде на подъезде к Кальмару становится пусто, прохладно и станции объявляют по-шведски: до улыбки привычный, мягкий, горловой звук. В кресле напротив Николлина с серьезным лицом углублена в Солженицына; у нее кудрявые пшеничные волосы, пушащиеся, как перья, и приятное веснушчатое лицо. Она сама такая птичка: энергичная, улыбчивая щебетунья. Поджимаю под себя ноги, придерживаю коленкой чемодан и, отрываясь от книги, долго смотрю на простенькие, ровненькие шведские поля. Глаза расслабляются и будто растворяются в их светлом ситцевом море.

В сутках у меня сегодня двадцать пять часов. Слава «Аэрофлоту» и часовым поясам.

\* \* \*

По приезде храбро бросаюсь в балтийскую воду с разбега. Забегаю по щиколотки и с верещанием возвращаюсь обратно, как щенок. Волны с презрением обрызгивают мне джинсы и возвращаются в море.

Ишь ты, тепличное растение.

Если сидеть на пирсе и свесить ноги, вода кажется малахитовой и от нее тянет холодом. Плавать в такой могут только сумасшедшие или скандинавы. Это очень красиво: рослая, розовощекая шведка, с волосами белесыми, как мука, с глазами голубовато-прозрачными, в строгом закрытом купальнике, плавно разводит руками в этой малахитовой воде, приподнимает нос и подбородок, смотрит на горизонт. На горизонте серые баржи, затянутые туманом, и маленькие белые треугольники парусов.

Вместо воробьев у «Макдоналдса» попрошайничают большие белые чайки; у них серые головы, широкие крылья и пронзительные голоса; то и дело слышится, что кто-то вскрикивает от ужаса, вздрагиваешь, смеешься, а они косятся своими черными масляными глазами.

На улицах кролики. Бурая шубка, ушки прижаты, глаза миндальные, все как положено — серыми шариками высыпают на газоны к темноте. Темнеть начинает к половине одиннадцатого. Небо будто расширяется и становится сначала жемчужно-серым, а потом — сразу индиго.

\* \* \*

На окне у меня жалюзи, и оттого по утрам пустая маленькая комната вся в солнечную полосочку. Полосочки выхватывают из сонного пыльного полумрака пачки доширака, термос с заолодавшим за ночь кофе, в беспорядке ночью купленный шведский творог (на вкус как крем или сливки), мятую карту и ключи от велосипеда. Велосипеды мы взяли напрокат на сутки. Велосипедов в городе больше, чем пешеходов. Велосипеды здесь существуют рядами, кучами, парами и поодиночке, прислоненные к стенам, — хозяин только что отошел и сейчас вернется. Нельзя быть настоящей шведкой, если у тебя нет велосипеда.

Рано утром ветер тянет влагой с моря, сырой, студенной, но солнце уже жарко печет плечи и тыльную сторону ладони, пока я вслед за Мартином проношусь мимо массивных каменных стен замка, мимо стаи диких серых гусей с красными клювами, мимо пирса, вдоль продрогшего пляжа — прямо, к самой южной оконечности полуострова, где гугл-карты сдаются и жалобно просят обновить страницу. Мы останавливаемся и разворачиваем бумажную карту, прихваченную из туристического бюро. Карта хрустит и не слушается от ветра, ветер бьет резко, плашмя, порывами. Мартин переворачивает кепку козырьком назад, Николина трясет кудрями и по-детски беззаботно улыбается.

До самого края мыса я добираюсь одна, по щиколотку в нагретейшей на солнце зыбкой травяной

топи, первая, гордая, босая, обгоревшая и замерзшая одновременно — ты ж мое славное северное солнце! Горизонт режет глаза. Стою на огромном скользком валуне, сколопавшись, чтобы не упасть. Гальянная фигура грудью встречает Балтику.

Отвозя велосипед обратно, держу его за спиной, будто боюсь, что отберут, и прошу продлить аренду на месяц.

Мне сегодня сказали, что я хорошо говорю по-шведски.

\* \* \*

Если встать к городу спиной и смотреть на замок, вы с ним остаетесь одни. Замок такой тяжелый, что чувствуется, как он давит на землю своим каменным телом. Холодные стены метровой толщины пропахли морем, просолились за четыреста лет, и теперь вдоль них бегают дети с волосами цвета льна.

Незадолго до одиннадцати я приезжаю за покупками. На парковке совершенно пусто и мертвенно тихо, только фонари льют на асфальт свой белый свет и шуршат колеса велосипеда. У самого входа дорогу мне перебегают заяц. Он такой большой, что сперва я принимаю его за олененка и останавливаюсь. Заяц останавливается тоже — сухопарый, быстрый, настороженный. Мы мгновение смотрим друг на друга: ночь, холод, ветер с моря, пустая парковка. Потом он исчезает.

Я еще немного пялюсь на то место, где он только что стоял.

По дороге домой сворачиваю к морю. Город глупо, спокойно спит. Вдоль замка разгоняюсь на пустых аллеях под густыми кронами, в корзинке велосипеда трясутся спаржа, селедка и помидоры. Колеса слетают с асфальта и шуршат по гальке. Море дышит в темноте: неспешно, раскатисто. Свет с деревянного пирса тут же гаснет в холодной темной воде.

Закрываю глаза и стою долго.

\* \* \*

Я восхитительно запустилась за неделю. Мое лицо отвыкло от того, чтобы его чем-то мазали. Нос облуплен, глаза красноватые от беспрестанного, крутого ветра. Веснушки. Заросшие брови. Тыльная сторона ладони обгорела неровно и некрасиво, как у всех здесь, кто с утра до ночи не слезает с велосипеда. Никаких мешков под глазами. Набрала обратно свои килограммы. Много сплю днем, много гуляю по темноте, много медитирую под тяжелыми стенами замка, прикрывающимися от моря мою неподвижную фигуру в желтой кофте. Много сижу на пирсе. Волны холодно дышат в мои подошвы.

Чайки над крышами — я все никак не перестаю удивляться.

Мой будильник давно отключен, телефон не выходит из тишины беззвучного режима. Существование неторопливое и обволакивающее, как теплый туман. Часто езжу в магазин и бесстыдно предаюсь пищевому гедонизму. Кокосовое масло и яблоки. Свежий сладкий хлеб, морская рыба в алюминиевых банках, густые йогурты, в которых стоит чайная ложка, свежемолотый кофе и жирное молоко. Наслаждение тем, как, крошась, ломается хлеб и кофе льется в чашку.

Темнота приносит с собой тяжелую стужу. Надеваю оба имеющихся свитера, наливаю какао в термос, хватаю с крючка ключи от велосипеда. Шины шуршат на тихой улице, на дороге враспынную бросаются маленькие бурые кролики с белыми хвостами-помпончиками. Переднее колесо рассекает ледяную тягучую темноту. Мартин ждет на велопарковке у городской библиотеки, в пятне света от фонаря; накинув капюшон, пытается включить у велосипеда передний свет. Я сходу сообщаю, что, по моим соображениям, мы оба, вероятно, сразу; он смеется и разворачивает руль.

— This way.

Едва не съехав в темноте на лестницу, оставляем велосипеды и спускаемся вниз. Доски пирса влажные, холодные, зыбкие. Слышно каждую нотку голоса, каждый оттенок неуловимых интонаций, каждый плеск воды о серый песок. Здесь никогда не делается совсем темно. Свет будто гнездится на западе, между землей и морем, изжелта-рыжий, теплый, ждет рассветного часа; фонари отражаются в воде, глубоко синей, шелковой, мажут по ней золотыми пятнами. Луна прямо над пирсом. Стынь висит над водой.

Где-то справа хлопает крыльями утка.

\* \* \*

Выходим из автобуса на маленькой остановке посередине трассы. Жарко. Насколько хватает глаз — поля, ровно стриженные, прямо раскроенные желтые и зеленые лоскутки. От ветра по ним пробегает беспорядочная рябь. Асфальт каленый, разметка размягчилась от солнца. Вынимая велосипеды из багажного отделения, водитель с сочувствием интересуется, как мы собираемся попасть обратно на большую землю. No idea, говорю я. Жму на педали. Пролетающие мимо машины, как жуки, обдают жаром, пылью и стрекотом. Николина доверяет мне, счастливо улыбается и поднимает к сатиновому небу лицо, Мартин хмурится и теребит козырек у бейсболки. Мартин — швейцарец. У швейцарца не может не быть плана. Швейцарец всегда должен знать, куда мы едем, по какой конкретно дороге, во сколько планируем прибыть и

во сколько — остановиться на ланч. В его понимании мы, вероятно, если не сразу, то совершеннойшей bold. Дорога — кочки да камни, в корзинке велосипеда подпрыгивает зеленый рюкзак, по сторонам пятнистые коровы топчут копытами пестренькую, мягкую полевую траву. Солнце горячо жарит руки, щеки и лоб, и тут же северный ветер норовит выхолодить грудь, и никак не привыкнуть, что ты здесь всегда — между жаром Сциллы и холодом Харибды. Разгоняюсь на спусках, нахожу старую ветряную мельницу с застывшими крыльями и забираюсь внутрь; пахнет старьем и пылью, трещит посеревшая от времени деревянная лестница.

Покупаем у местных клубники; на четыре монетки по десять крон — коробочка сочащихся ягод. Таблички «Цветы» и «Экологичная клубника» здесь пишут вручную на белых картонках. Едим сразу, пачкаем липким соком руки и рот. Пожилая полячка в белом платке смотрит на нас и смеется.

У шведов большие светлые теплицы с запотевшими стенами. Узнавала дорогу у красивой шведки в рабочих перчатках и с коленками, выпачканными в земле.

Она не перешла на английский.

Клубникой объедаемся прежде, чем приезжаем в порт; синеглазые дети с льняными волосами плещутся в воде — пятнадцать с половиной градусов Цельсия. Вода здесь, на острове, светлая, с крупными, полными волнами. Стелем плед на крутых, пористых прибрежных валунах и достаем припасенную еду, глядя на режущий глаза, сверкающий залив и Эресуннский мост.

На пароме, идущем на большую землю, плещется шведский флаг.

\* \* \*

Мое любимое время суток — когда перед закатом небо становится цвета голубой эмали. Матовое, пастельное, оно поднимается вверх и светлеет, светлеет, чтобы потом резко опуститься в темноту. Я лечу по набережной, и по ветру за мной плещется черный шарф. Горло продуло, и теперь я похожа на Остапа Бендера с загорелым лицом. Трава холодеет, становится бледнее на два оттенка, и из нее маленькими головками тянутся к небу простенькие белые цветы. Руки у меня липкие от яблочного сока, внутри прохладно и пусто. Самолет над тем местом, где только что село солнце, оставляет на небе золотистый, пламенный след. Ветра совсем нет, и вода, серебристая, как ртуть, отражает длиннокрылые силуэты чаек. Они падают на воду, взрывают ее крыльями, беспокоят, а потом бесшумно качаются на месте.

Я то отпускаю руль велосипеда и лечу с горы в золотисто-желтом море роскошных шведских полей, то

уезжаю на маленький свежеструганый пирс далеко за Långviken и, невидимая в густых и плотных зарослях камыша, часами втягиваю в себя море через глаза.

Я совсем мальчишка. На ногах живого места нет. Острая коричневая полоса загара ровно по коленки — там, где заканчивается платье. Совсем перестала беречься. С каким-то упрямым упорством лезу в студеную воду, бегаю по стенам замка, по самой кромке, пошатываясь и по-птичьи раскинув руки. Будто стала шире.

Поздно ночью встаю с кровати, беру персик, сидр, ключи и плед и отправляюсь медитировать к морю. На пляже пустынно, холодно и тихо. Мокрый песок серовато-коричневого цвета бережно разровнен. На пирсе моргает готовящийся потухнуть фонарь. Когда не видно волн, кажется, что они вот-вот нахлынут и укроют с головой: переливчатые, нефтяные, неторопливые.

Я закрываю глаза и представляю, как вхожу в воду и иду на само дно, глубже, глубже, а потом останавливаюсь у острова, висящего в глубине, как в воздухе, и касаюсь рукой его мокрого бока.

\* \* \*

В Одде холодно, туманно и зелено.

Одда — крохотный городок на юго-западе Норвегии, у самых фьордов. Всю дорогу туда я пялилась в окно автобуса, и в мой разинутый рот мог бы влететь небольшой пассажирский самолет. За стеклом, в серой предрассветной темноте, вдоль узкой трассы неслась горная река — вода густо-бирюзового цвета с белоснежной клокочущей пеной. Горных вершин не было видно из-за тумана, и водопады срывались в реку с самого неба. Автобус спал; я смотрела на часы — два часа до прибытия — и тоже силилась удобнее устроить голову между рюкзаком и шершавой обивкой кресла, но за новым поворотом распахивалось новое озеро, застывшее, стеклянное, и спать вот так просто, проезжая мимо, было никак нельзя.

Нас пятеро на пустой остановке в горах, я и мои попутчики — трое молодых индийцев и полненькая латвийка. Городок в горной долине. По дну долины течет река, и оттого все время слышится, будто где-то рядом закипает чайник. Маленькие квадратные домики, по-скандинавски цветные, карабкаются по склонам и кучками толпятся среди темной зелени. Улицы совершенно пусты. Порой кажется, что живут в городе исключительно чайки — они здесь такого размера, что ходят на альбатросов, и такого сомнения, что уступают дорогу только после третьего сигнала клаксона. Не считая их характерных криков и клокотания реки — мертвенная тишина.

Автобус уходит, и мне делается смешно. Нас пятеро на пустой остановке в горах. Я прижимаю тыльную сторону ладони ко рту и не могу сдержать смех. Сейчас. Сейчас из-за угла выйдет Уолтер Митти. Или Валдис Пельш — и скажет, что это программа-розыгрыш. Изо рта при выдохе идет пар. И индийцы, и Линда поглядывают на меня с некоторой долей сочувствия. Я познакомилась с ними в автобусе из Осло; мы проговорили два с половиной часа, свернувшись на задних сиденьях. Я много махала руками, ребята спрашивали про Путина, за окном то и дело ощущались исполинские темные силуэты, пока невидимые. Индийцы и Линда уже провели ночь на соседнем Прекестулене и теперь ехали на Язык. У каждого — большой походный рюкзак, спальный мешок, аккуратно свернутый пенный коврик и непромокаемые ботинки. В общем — ни дать ни взять манекены с витрины «Спортмастера».

По пути на ближайшую заправочную станцию я пялюсь то на горы, то на свои кроссовки. Оборачиваю вокруг шеи шарф. Зябко и так свежо, будто воздух здесь пропитан эфирным маслом. В маленьком магазинчике Линда бодро здоровается с заспанным норвежцем за прилавком и привычно двигается к автомату с кофе. Беру себе горячий шоколад и две самые дешевые булочки, пахнущие специями. По ту сторону витрины крутятся зачерствевшие хот-доги и маффины в пластиковой упаковке. Забывшись, отвечаю норвежцу по-шведски и замечаю, как хмурится его лицо. В желудке у меня что-то ноет и подрагивает — очень долго не ела и не спала, говорю я себе, но это неправда. Обхватываю горячий стаканчик, сжимаю в охапку бумажный пакетик с булками. В кофе много пены и молока. Снаружи Линда смеется и курит, индийцы фотографируют чаек на большой фотоаппарат. Ревет река, выбрасывает в воздух клокочущие массы малахитовой воды и кремовой пены. Позади этого грохота — тишина. Тяжелая, осязаемая. Такой первобытной тишины я никогда еще не слышала. Я объясняю им в пятнадцатый раз: просто собралась и поехала. Захотела уехать в горы. Рашн крейзи.

В полностью заполненном салоне девушек двое: Линда и я. Отметив это, Линда морщится и ворчит: «The story of my life!» Со стороны ее, в полной экипировке, можно принять за хорошенького рыжего мальчика; кроме того, с привычкой много курить и смачно ругаться в компанию Линда вписывается более чем гармонично.

Что никак нельзя сказать обо мне.

У подножия горы я с серьезным видом переобуваясь из кроссовок в маленькие резиновые полуботиночки. Ботиночки раскрашены под кеды, обладают шнурками и выглядят совершенно по-идиотски. Затылком чувствую полный любопытства взгляд сво-

их попутчиков. С трудом застегиваю раздутый рюкзак, привязываю к шлевкам тканевую сумку с едой и надписью Linnaeus University, туго заплетая волосы, чтобы не лезли в глаза. Индийцы тихонько переговариваются на хинди. Улыбаются. Наверное, гадали, дойду или не дойду. Не то чтобы я очень об этом думала. В смысле, я понимала, что все правы: и Линда, которая откровенно заявила, что я nuts, и Леша, который узнал о поездке первым и емким словом охарактеризовал уровень моих умственных способностей. Наверное, если бы я готовилась к маршруту за неделю, а лучше всего — еще в Москве, все было бы совсем по-другому. Я скупила бы себе половину ассортимента ближайшего спортивного магазина, обзавелась бы новенькими ботинками на рифленой подошве и хрустящим походным рюкзаком, прочитала бы статьи в интернете, расспросила бы тех, кто уже совершил подъем.

Но так не вышло. Вышло, что я стояла там в джинсах, розовой куртке, шарфе, лихо закинута на плечо, и все время смеялась, и пялилась на горы, и шутила, что с середины маршрута буду звонить девять-один-один. И в этом — в моем помятом виде, в моих дурацких резиновых полусапожках (спасибо, мам), в трескающемся по швам зеленом Fjällräven Kånken, здесь, в горах, выглядевшем чуть хуже, чем глупо, — заключалась большая часть пузырящегося восторга, который я смаковала тогда в шесть утра по норвежскому времени. Сладостный ужас совершаемого безумства. Пустота и трепет в горле. Молодая храбрящаяся гордость.

(Как показала практика, для того, чтобы комфортно существовать на маршруте, совершенно не обязательно наличие навороченного термобелья, палок для трекинга и высокотехнологичной куртки Columbia. Но если вы не хотите выглядеть белой вороной, лучше, конечно, ими обзавестись.)

Подробно описывать маршрут — затея кощунственная. Маршрут — это таинство. Это то, что навсегда остается только между тобой и горами. Сюда — только в одиночестве. Первые пару километров ты слышишь тишину и собственное дыхание, поправляешь натирающие ремешки, перевязываешь шнурки, снимаешь один слой одежды за другим, пьешь воду, фотографируешь, снова пьешь, обгоняешь, разглядываешь тех, кто обгоняет тебя, оборачиваешься, пялишься вокруг. Горы не торопятся. Горы ждут. Ждут, пока ты отсуетишься, отхлопочешь, а потом опускают тебя в глубокий, немой коматоз. Становится очень тихо. Ты слышишь разговоры тех, кто проходит мимо тебя, ты слышишь непрерывный шелест воды по крутым каменным плитам, слышишь, как ступают по мху подошвы твоих кроссовок, но эти звуки обесцвечиваются и утихают на фоне тишины. Это тяжелая, оби-

таемая тишина. Ты чувствуешь присутствие гор. Как ощущается человек, стоящий ровнехонько за твоим плечом, так ощущается отчетливо и безошибочно присутствие их древних каменных тел. Горы смотрят на тебя. Горы дышат на твое лицо. Ты знаешь, что ты в гостях; ты знаешь, что ты ступил в их древнее, безмолвное царство, в котором тебе не знаком и не подчиняется ни один закон и в котором ты — маленькая фигурка с токающей в висках красной кровью, в то время как они здесь всегда. Все, что с тобой здесь произойдет, зависит только от них, но им до тебя никакого дела нет. Они смотрят туда, где живут внуки твоих внуков, они видели аргонавтов и рождение Посейдона, они стоят на самом сердце Земли и связаны с нею одной сетью сосудов.

Маршрут — это бесконечная, непрерывная медитация. Ты ловишь себя на том, что ни о чем не думаешь. Голова пуста и будто бы заморожена. Ты перестаешь пить воду и забываешь про бутерброды. Острая боль в ногах растекается по телу и сливается с тобой так, что перестает причинять неудобство. Периодически ты садишься и молча, сосредоточенно смотришь. Ветер играет с волосами. Каменная плита покрыта жестким мхом всех оттенков зеленого и отдает стынью. Деревья внизу настолько малы, что не видно, как они шевелятся от ветра. Так же не видно, как течет вода — застывшее полотно цвета медного купороса. Все застыло. Времени здесь нет.

На видео оттуда я просто держу камеру перед собой и молчу.

Горы отпустили на пути обратно. Заболели ноги, захотелось есть и надеть шарф, одежда на поясище оказалась насквозь промокшей от пота. Это как снова вернуться в тело и обнаружить, что оно все это время зывало к тебе. Я остановилась в стороне от маршрута, расстелила плед на камнях, съела рис и овощи. Контейнер тщательно вымыла в студеной озерной воде, прозрачной и недвижимой, как начищенное стекло. Помню, как к концу заторопилась, поскользнулась и упала два раза. На последних двух километрах сиделась передохнуть прямо посередине дороги. Клала голову на колени и дышала ртом. Растирала икры.

Спустившись, заботливо подвернула под себя немые ноги и долго ждала автобус в углу на траве.

Автобус снова привозит меня к реке. Все так же клокочет ее нервное малахитовое нутро. Спыхватываюсь, что не знаю адреса хостела, в котором должна ночевать; спрашиваю кого-то на остановке, волочу ноги от одного случайного лица к другому, пока не оказываюсь возле окошка такси. Машина блестящая, черная, с кокетливыми белыми шашечками. Водитель просит сто тридцать крон: это больше, чем у меня есть. Я усмехаюсь, будто он шутит, и устало смотрю на дорогу. Далеко идти, спрашиваю. У него веселое лицо,

седые щеточки бровей и белая форма с шашечками на кармашке рубашки.

Минут пятнадцать пешком. Через мост и наверх.

После десяти часов маршрута пятнадцать минут кажутся мне непреодолимыми. В икрах что-то сжимается и дрожит. Я стыло смотрю на узкое полотно моста. Водитель косит на меня веселые глаза и, крикнув, открывает дверь рядом с собой.

Садись. Довезу.

В хостеле я споласкиваю ноги холодной водой и, набросив постельное белье на кровать, ложусь ничком. В телефоне фотография с Языка Тролля — смешной бонус, ироничный подарок от гор.

Меньшее, что я получила.

Первое, что я вижу утром, — горную вершину в деревянной рамке окна. Будто на стену повесили картинку с заставки моего ноутбука. Долго лежу щекой на подушке, потом сползаю вниз с верхнего этажа кровати и, кучей сунув в корзину постельное белье, выхожу к горам. Страшно хочется горячего чаю и большой бутерброд. В ногах будто вставили металлические штифты, но теперь это даже приятно: неопровержимое доказательство того, что я там правда была. Теперь я уже все осознаю; теперь уже горжусь собой. Одда лежит передо мной, маленькая, спящая, окольцованная исполинскими каменными телами, и лямки рюкзака натирают мне плечи. На изучение города есть целое воскресенье. Автобус увезет меня в Осло поздно ночью.

Мне хватает пятнадцати минут, чтобы вспомнить, что если найти работающий после пяти вечера магазин в скандинавских странах — задача трудновыполнимая, то отыскать хоть что-нибудь, не закрытое в воскресенье, дело изначально безнадежное. Город совершенно вымер. Превратился в нежилую картинку. Даже перекаати-поле на этих улицах выглядело бы слишком оживленным. Я не могу понять и, наверное, никогда не пойму, чем немногочисленные жители Одды занимаются по воскресеньям за наглухо зашторенными окнами, но на омертвевших улицах мне все время казалось, что город в срочном порядке эвакуирован. Если Рим в свое время спасли гуси, то я в Одде целиком и полностью была обязана захваченным с собой двум пачкам доширака с грибами. Ина-

че — голодная смерть на фоне очаровательного пейзажа. Вдобавок к означенным пачкам я обнаружила в кармане два смятых пакетика черного чая; после небольшого интро о тяжелой жизни русского студента в Скандинавии семья поляков, державшая мой хостел, согласилась предоставить мне возможность сидеть в гостинной и в качестве бонуса отсыпала в маленькую чашечку две ложки тростникового сахара. Чуть позже я, правда, обнаружила работающий магазин на запра-вочной станции — той самой, где мы пили кофе утром перед маршрутом. Норвежец за прилавком узнал меня и улыбнулся. К дошираку и чаю добавились пресный хлеб и не слишком свежая банка сладкой кукурузы. Все вместе мы представляли собой весьма плачевное зрелище: кукурузу я ела пластиковой ложкой, сидя под маленьким черным зонтом на лавке возле памятника добытчикам известняка.

Полагаю, что никогда прежде молоденькая норвежка, утром следующего дня продававшая мне в Осло овсянку с фундуком и горячий «Эрл Грей», не видела такого восторга на лице иностранного туриста. Полагаю, никогда я еще так не радовалась горячему завтраку. В Осло мне предстояло пробыть два часа перед посадкой на поезд до Карлстада — два часа с семи до девяти утра. Вываливаясь из автобуса после шестичасового ночного заезда, я не испытывала ни малейшей надежды найти хоть одну открытую дверь. Тем не менее, норвежская столица оказалась ко мне благосклонна.

(Полагаю, хозяева кафе, открывшегося в восемь, просто не были норвежцами.)

Потом был Карлстад, затем — Гётеборг; из путешествия по последнему помню только, что сидела на траве в Ботаническом саду и, глядя на стеклянные стены теплиц, обжигалась горячим шоколадом. Большие зеленые листья прижимались к стеклу изнутри. В поездах клала голову на свернутую куртку и быстро засыпала. На маленьких станциях совсем как в России: битый шершавый асфальт, пресс-бюро с запывлившимися сувенирами и просто одетые люди. Пересадки в Альвесте я ждала на закате; глаза слипались, сумки тянули плечи, и крошечный состав из двух вагонов светил мне в лицо круглыми добрыми фарами.

В Кальмар я возвращаюсь ночью.